

АЛЕКСАНДРА ПИСТУНОВА

ВЕСЕЛЫЙ КОРАБЕЛЬЩИК

К 125-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ
К. А. КОРОВИНА

Прославленный портрет кисти Серова показывает Константина Алексеевича Коровина тридцатилетним. Облокотившись на полосатую диванную подушку, сидит он в мастерской возле стены, к которой сам, наверное, прикрепит свои маленькие этюды, и над правым его плечом стоит раскрытый ящик живописца с тубами красок... Стена холодная, гладкая. Помещение кажется гудким и пустым, а темноволосый красавец с флорентинской челкой эпохи Возрождения и бородкой короля Анри IV снял пиджак, позирует в белейшей рубашке без галстука и в тонком ярко-синем жилете. Слово «позирует» здесь затем лишь, чтоб передать долгий процесс сотворения этого шедевра русской портретной живописи: Валентин Александрович Серов, любимый друг Коровина, всегда работал медленно, почти замучивая модель. Но это, разумеется, не отражалось в произведении. Впрочем, про коровинский портрет иные говаривали, что Серов-де отступил от своих трудных психологических задач, писал широкой вольной кистью, быстро, в манере, свойственной Константину Алексеевичу, серьезным, тяжеловатым Серовым не принимаемой. Так ли было, нет ли — холст и в самом деле кажется рожденным мгновенно, — но жизнь и образ человека наделены здесь той полнотой и той редкой у Серова открытой любовью к его герою, с которой писал он разве что своих сестер и жену или Верушку Мамонтову, «девочку с персиками».

Серов любит задумчивым лицом красавца друга, передает его печаль, раннюю усталость, мягкость глубокого бархатного взгляда, артистизм свободно, как полураскрытое лебединое крыло, лежащей руки. Здесь даны характер, судьба человека, ро-

мантическая страстная душа с ее силой и слабостью, талант, мечтательность, одиночество на жизненном пиру. Серов написал поэта и, конечно же, сказал о Коровине самую полную правду.

Портрет Коровина назидателен для нас. Он учит дружбе, учит пониманию близкого человека, целительному прикосновению к его душе. Тут пушкинская мера высокого товарищества, верности, благородства. Ведь история культуры оставляет нам не только факты и достижения искусства, она дает образцы человеческих чувств. Привычно относить эти понятия к дивной плеяде творцов первой трети XIX века, декабристам, кругу некрасовского «Современника». Совсем редко мы вспоминаем чудесное единство Державина — Львова — Хемницера и более близкое нашему времени дружество Серов — Коровин — Врубель. Я не отвлеклась в сторону, ведя рассказ о Константине Алексеевиче Коровине. Наоборот — вспомнила о его жизни самое существенное — ее пик, ее светлые горячие денечки.

Родился Коровин в Москве у Рогожской заставы, в семье, где главою был дед Михаил Емельянович, разбогатевший на «ямщиклы» — извозе регулярных карет Москва — Нижний Новгород. Я помню дворы и переулочки у Рогожской, ныне Крестьянской заставы, которые исчезали на наших глазах, через век после рождения Коровина. Стояли там черно-кирпичные конюшни, где давно хранились велосипеды и мотоциклы, а иная шеколда брякала порою звонко, как лошадиная уздечка. «Где же именно был коровинский дом?» — спросила я однажды у Андрея Дмитриевича Гончарова, считавшего себя по ученичеству «внуком Коровина»: его первым учителем был Илья Иванович Машков, а Машков занимался у Коровина в Московском училище живописи. Зашел разговор о коровинской семье. Оказалось, у Рогожской жили Коровины потому, что были они «раскольники» — в те времена стояла старообрядческая слобода у Рогожской заставы. Придерживался ли отец Коровина старинной веры? Ведь Алексей Михайлович имел университетское образование, кончил юридический факультет, а женился на художнице и музыкантше Аполлинарии Ивановне Волковой, дочери чаеоторговца. Когда железные дороги отменили движение почтовых карет и полностью разорили ямщичьи конторы, отец художника после долгих мытарств и поисков заработка покончил с собой. Константину было около десяти лет. Смерть отца — одно из множества тяжелых впечатлений отрочества Коровина.

Из лелеемого дитяти, засыпающего под звуки материнской арфы и обучаемого домашними учителями, сразу стал он почти что нищим подростком. Мать сняла маленький домик на Сушевской улице и по совету друга семьи живописца Пряхиншикова отдала сыновей Сергея и Константина в Училище живописи, ваяния и зодчества. Ходили они туда пешком — путь неблизкий до Мясницкой улицы из Марьиной рощи. Старший, Сергей, учился на живописном, младший, Константин — на архитектурном отделении. Мать искала для сыновей профессию, заботилась не о талантах, но о хлебе. Особенных дарований никто за этими маль-

никами не числил; росли возле матери, любившей писать акварелью, петь, аккомпанируя себе на разных струнных инструментах, читать вслух Пушкина и Лермонтова. Все эти домашние умения младшие Коровины хорошо усвоили, да вот, кажется, и все. Ан нет, не все. На благодатную почву упали зерна каждодневного ненамужного артистизма. Под Вышним Волочком, где еще не разорившаяся коровинская семья проводила каждое лето, отец с матерью любили слушать длинные песни ямщиков, сживали с рисовальными альбомами на холме, откуда виделась широкая зелено-голубая панорама...

Мать умерла, когда дети были на пороге юности. Сергея все эти события оледенили, он стал особенно строг; молчун, искатель справедливости. Таким дает нам его и живописец. С души Константина горе словно бы сняло защитную пелену, сделало его воспоминания о детстве особенно ранимыми. Он легко отзывался ласке, красоте, веселью, словно бы затем, чтоб отвлечься, не думать о боли. Сюжеты первых его произведений кажутся увиденными подростком, тут взгляд в упор, невысоко: голубень в первых весенних лужах и выбирающийся из последнего снегового пласта ствол дерева на пригорке; уют чужого дома — у стола, на котором стоит большая керосиновая лампа, жена шьет, муж читает вслух; некрасивое доброе лицо одинокой девушки-хористки, нелепая шляпа, большезубый губастый полуоткрытый рот — маменькины сыны смеются над такими, сирота Константин Коровин сострадает.

Он давно перешел с архитектуры на живопись: в училище, где директорствует чудесный Перов, замечен особый цветовой дар юности. Он занимается у Саврасова и так напишет об учителе в своих воспоминаниях: «Большого роста, сильный и мощный фигурой, этот величайший артист с умным и добрым лицом производил впечатление стеческой искренности и доброты... Придет к нам в мастерскую... говорит: «Ступайте писать, ведь весна... воробьи чирикают, хорошо... Пишите этюды, изучайте, главное — чувствуйте». Стою я, Ордынский, Светославский, Левитан... а Саврасов говорит, что даль уже синее, на дубах кора высохла... И мы шли каждый день с пятачком в кармане, и то не у всех, а у богатых, и едва (для экономии!) выдавленными красками писали... Левитан не ходит в мастерскую — весна. «Где он, — спрашивает Алексей Кондратьевич, — давно его нет». — «Он очень... влюблен». — «Это ничего, это не вздор, он там думает».

Я был болен и выздоравливал, жил со своей матерью в небольшой комнате. Алексей Кондратьевич навестил меня. Он... говорил мне «ты»... Саврасов только после долгого знакомства говорил «ты». «Ты не печался — все пройдет... Молодость счастлива потому, что она молодость... Нужда в молодости нужна: без нужды трудно трудиться, трудно художником сделаться».

Я так любил слушать его удивительную искреннюю лиру, наполненную непосредственной волей, как песню щегла, полную зазывающих тайн... Когда он уходил, слезы душили меня: я увидел его спину — рваное пальто и худые сапоги».

Вот каковы коровинские мемуары. Не правда ли, тут не одна только лира Саврасова, тут множась лиры: влюбленный Левитан; уходящая из жизни в маленькой комнате дорогая мать, о которой нету сил сказать более подробно; тут юноша — художник Костя Коровин, счастливый оттого, что величайший артист говорит ему «ты»; тут навечно ставшая мерой красоты скромная природа Подмосковья. Удивительный все-таки литературный жанр — воспоминания, как они многосложны при видимой своей простоте. Константин Алексеевич был замечательный писатель, но сейчас я остановилась на этой стороне его дарований, чтоб рассказать о юности и о формировании открытой миру души Коровина. Эта душа собирала клады, а кисть художника рассказывала о них именно тогда, когда сокровища эти становились воспоминанием. В молодости Коровина часто именовали «импрессионистом»: его холсты носили этюдный, будто бы незаконченный характер, казались написанными «по впечатлению». Константину Алексеевичу прозвище не нравилось: он знал себя художником русской школы, школы глубокого, вдумчивого изучения природы.

Но в зрелые годы он сам называл себя «постимпрессионистом», шутил — ему чужды были «умствования». Однако есть во всякой шутке доля правды. Коровин не принадлежал течению, возникшему «post», «после» импрессионизма, но его живопись создавалась после многих впечатлений от природы, вошедших в память, в сердце. Назову его холсты мемуарами редкостных уникальных чувств — к человеку ли, плодам или вещам, краю ли земли, будь то город, село, река, дерево, кафе в Париже или в Ялте, морская пристань на русском Севере или в Марселе, площадь во Флоренции или улица в Тифлисе. Глаз, одаренный редкой цветовой зоркостью; рука, направленная точным строительным замыслом в любой из его композиций; но главное — жарко любящее этот прекрасный живой мир сердце... Коровин считал живопись музыкой, он слышал звуки в своих пейзажах, портретах, натюрмортах, интерьерах. Говорил о своей живописной работе так: доброе имел я спеть людям. И пел.

Мы расстались с ним на пороге маленькой комнаты его отрочества. Вернемся же туда. Как поймешь творца, если не проникнешь к нему в сокровенные дни перед юностью? Лег в 14—15 человек становится таким, которым он умрет, его характер и отношения с миром навсегда определены. Иное дело — он будет образованнее, умнее, сильнее или слабее в здоровье, удача может прийти, а может и отвернуться, иной приобретет хорошие привычки, иной — дурные. Все так. Но приближающийся к юности, думается, закончил душевное свое формирование. Вникая в великие биографии, это понимаешь отчетливо.

Культура — защита жизни, искусство — прославление жизни, скажет Константин Алексеевич Коровин в зрелости. Надо много пережить, чтоб так сформулировать. В культуре искал защиту самому себе порывистый, смешливый, умеющий веселиться

и петь, такой будто бы несерьезный ученик Саврасова и Поленова.

Василий Дмитриевич Поленов появился в пейзажном классе училища после Саврасова. Коровин и Левитан знали его живопись, восхищались ею. «Он пришел. В лице его, манерах, во всем облике было что-то общее с Тургеневым», — рассказывает Константин Алексеевич. Они полюбили друг друга — мастер и ученики. Поленов кормил Коровина, часто давал ему кров в бездомные времена. Это поленовский стол — под керосиновой лампой, где шьет Наталья Васильевна и читает ей вслух Василий Дмитриевич — написал веселый сирота Костя Коровин, часто в эти годы мечтавший о «корольке ситном». Так и видишь его сидящим в темном теплом уголку поленовской столовой и наблюдающим своего чудесного «Тургенева», его строгую добрую жену. Болело, рыдало его сердце. Любило горячо.

Через многие годы, когда в 1900 году французы наградили Коровина орденом Почетного легиона за создание дивного русского отдела на Всемирной выставке в Париже, он написал Поленову: «Я бы так хотел Вас увидеть, мой дорогой, милый друг. Мне бы хотелось так много сказать Вам!.. Никто бы никогда не поощрил меня, и поэтому никто бы не поднял мой дух, если бы не встретил Вас. Это всегдашнее мое сознание. Знайте, Василий Дмитриевич, что Ваш образ, искренность и честность всегда живы во мне... А формы искусства тогда только и хороши, когда они от любви, свободы, от непринужденья в себе, а так — веселье, своя утеха; вот тогда оно искусство! Когда оно трудно, предвзято, похоже на урок, — тужо...

Преданный и любящий Вас всей душой Константин Коровин».

Еще пролетели десятилетия, и Наталья Васильевна Поленова сообщила Коровину о последних днях жизни мужа. Он попросил снять со стены коровинский пейзаж с речкой, выполненный юным живописцем в Жуковке на Клязьме, где он когда-то гостил у Поленовых летом. Скоро увидимся с Константином на этой речке, говорил Василий Дмитриевич, умирая.

Афоризм Коровина: «Культура — защита жизни, искусство — прославление жизни» поражает своей глубиной. В самом деле: культура может защитить жизнь человека, и еще как! Она ведь имеет необычайную нравственную силу — примеры труда, дружбы, целеустремленности, духовного единства, любви, уважения к человеческой личности. Когда Коровин уже вышел из стен училища живописи, Поленов пришел к нему туда, где юноша снимал мастерскую, и попросил давать ему уроки. «Я мешаю краски несколько приторно и условно. Прощу тебя — помоги мне отстать от этого», — сказал он. Стали вместе писать старика натурщика. «Я... старался искать верные контрасты красок... Поленов помог мне обратить на это более глубокое внимание. И не он, а я все больше постигал тайну цвета». Константин Алексеевич писал мемуары в старости, сознавая, что сам был для своих учеников тем же, чем для него когда-то Поленов. Вместе с Серовым профессорствовали они в начале века в Москов-

ском училище живописи, вырастили Павел Кузнецова и Мартирос Сарьяна, Ларионов и Гончарову, Юона и Машкова, Сергея Герасимова и Роберта Фалька, Иогансона, Тархова, Пищалкина, Александра Герасимова, Сапунова, Шемякина, да мало ли кого еще.

Вы скажете: «Можно ли перечислять эти имена через запятые?» Можно, поверьте. Их объединяет не только мастерство, которое эти столь различные по дарованиям и стилю художники направили школе советского изобразительного искусства. Все, даже те, кто в ней и не работал. Их объединяет страстное чувство восхищения своим учителем Коровиным. Никогда не забуду, что говорил о нем Павел Варфоломеевич Кузнецов, какие слова находил Сарьян, описывая лицо и глаза смеющегося Коровина. «Он был Моцартом живописи. Когда посмотришь на этот профиль доброго рыцаря, в темно-серые глаза, всегда готовые улыбаться, смеяться, вместе с тобой делить твою радость, настаивать на твоей удаче, то прямо-таки слышишь Моцарта... Что-то из «Волшебной флейты». Полустолетие отделяло учеников от учителя, а колдовские чары все сохранились. И в allegro vivace этих воспоминаний звучали серьезнейшие постулаты творческой дисциплины, высоких задач искусства, последовательности, с которой воссоздается на полотне многосложный мир человеческих чувств.

Наследие Константина Алексеевича Коровина очень широко. Принадлежа «серебряному веку» русской культуры, он умел в изобразительном искусстве все. Он был сценографом оперного и драматического театра эпохи высших его достижений в России: коровинские декорации открывали спектакли «алексеевского кружка», из которого вырос МХАТ; Коровин неразделим с Частной оперой Мамонтова, лучшими спектаклями Марининского в Петербурге, Большого и Малого театров в Москве. Константин Алексеевич сам писал декорации, рисовал гримы и костюмы. Если б партитуры опер и балетов, где он был художником, были бы изданы вместе с работами Коровина, то миру явились бы уникальные «иллюстрационные циклы» одновременно к музыкальной и драматической сторонам этих произведений. Но Коровин был и собственно иллюстратором — замечательным книжным графиком. Так и стоит перед глазами утренняя спальня пушкинской Татьяны, где на стены отсвечивает выпавший за окнами снег. «Снег выпал только в январе на третье в ночь. Проснувшись рано, в окно увидела Татьяна...» Оказывается, можно передать это волшебство: чувство юной души, возвышенной души, души, открытой миру. Человек в теплом доме, а сердце его ощущает все, что свершилось в природе, вне стен, на воле. Конечно, Константин Алексеевич изобразил все это по памяти. Здесь тот удивительный коровинский мемуар, который в состоянии возникнуть только после остро, глубоко пережитого переживания.

Очень русская эта зимняя спальня Татьяны Лариной. Итальянцы Ренессанса писали человека в лоджии, открытой жарким синим небесам. Природа у них жила тихонечко, не мешая человеку, убаюкивая

вырастали. Павлик Сарьяна, Лариса и Машкова, Сергей Фалька, Иоганн да мало ли еще...

решившись повер-верство, вани-годе-ра, х

о своим покоем. Русский художник Коровин изобразил вздымающее человека ликование от его единства с миром природы. Собственно говоря, всякий коровинский пейзаж передает это особенное яркое чувство, это счастье. Может, потому и уверен был Поленов, что в «раю» встретится с Костенькой на писанной им Клязьме! Да я-то говорю сейчас не о пейзаже. Я говорю о спальне, о доме — словом, об интерьере, где одним только светом рассказана живущая за стенами природа. Природа, утешающая Татьяну с ее отвергнутой Онегиным любовью: свет от снежной зимы белый, нежный, матовый, но в нем нет голубого сияния. Свет — как затихающий горький плач, он передан со жгучей болью, ее могут воплотить в искусстве только великие.

Савва Мамонтов, когда в абрамцевский кружок ввел Коровина Поленов, прозвал юношу «веселым корабельщиком». Он был неистовым в затеях, шутках, играх, перестановках, сочинениях экспромптов, пении, плясках, бродяжничестве по лесам, в рыбалке и в охоте, в галантном ухаживании за дамами. Он создавал чертежи теремов, беседок, колодезных журавлей, лепил, рисовал, выдумывал маскарады, пародировал знаменитых поэтов. Он создавал свои якобы небрежно писанные холсты мгновенно, делая за два-три часа то, что другие — за месяц.

Но только истинно близкие Константину Алексеичу люди понимали, что «веселый корабельщик» — человек трагического мировосприятия, нервный, мятежный, мнительный, не очень физически сильный, успокаивающийся лишь в общении с природой и воспринимающий чужое горе глубоко и больно. Чтобы понять это, достаточно прочесть то, что Коровин написал о Врубеле. Ведь никто не понял гений Врубеля так полно и всесторонне, как Коровин. И никто не сострадал ему с такой отзывчивостью и преклонением. Их первая встреча состоялась в имении под Полтавой, где Коровин гостил, а Врубель служил губернатором. Константин Алексеич рассказывает так: «Было лето. Жарко. Мы пошли купаться на пруд... Михаил Александрович... был хорошо сложен, и крепкие мускулы этого небольшого... роста человека делали его красивым. «Это жокей», — подумал я. «Вы хорошо ездите верхом? — неожиданно спросил он. — Я езжу как жокей». Я испугался: он как будто понял мои мысли. «Что это у вас на груди белые большие полосы, как шрамы?» — «Да, это шрамы. Я резал себя ножом». Он полез купаться, я тоже. «Хорошо купаться, летом вообще много хорошего в жизни, а все-таки скажите, Михаил Александрович, что же это такое вы себя резали-то ножом — ведь это должно быть больно...»

Этот разговор происходит между молодыми людьми, но Врубель родился почти на 6 лет раньше, и он так отвечает Коровину: «Поймете ли вы, — сказал Михаил Александрович... — Я любил женщину, она меня не любила, — даже любила, но многое мешало ее пониманию меня. Я страдал в невозможности объяснить ей это мешающее. Я страдал, но когда резал себя, страдания уменьшались». Коровин призна-

ется: «Я... действительно не понял, — но все же подумал и сказал, — да, сильно вы любите». — «Если любовь, то она сильна». Врубель был старше меня, говорил на 8 языках... Я не видал более образованного человека. Врубель был славянин чистой воды... с пеленой высокого культа, щегольским изяществом драгоценного легкомыслия, высоких порывов... музыки, искусства, с праздником и задором в душе... Он изверился в понимании окружающих... И горьки часто были его глаза, и сирота жизни был этот дивный философ-художник...»

Понимать чужую беду почти всегда дано поэту. Гейне говорил — через его сердце проходит трещина мира. Это давно известно. Но ведь чтоб стать сердцем поэта, оно само должно перенести много, очень много. Говорю «должно», не настаивая. Я просто не слыхала, чтоб кто-нибудь стал истинным художником, не испытав глубокого горя.

Коровин прожил последние 16 лет во Франции. Как это случилось, скажу дальше, пока нам важно только, что беглецом Коровин не был. Но вот такая странность: русский художник Коровин писал Швецию, испанскую Валенсию, итальянские Рим и Флоренцию, французские Париж и Дьепп. Москвитянин, обожавший заводи около лесного своего дома под Переславлем-Залесским, медвежат, зайцев, белок, которых приручал и поселял с собою вместе с любимыми собаками, со страстью работал в Грузии, в Средней Азии, в Приазовье, Крыму, на Украине, на Мурмане... Малая его Родина, та, которую назвал он бесценной, воля, ощущаемая им так могуче, становилась «подтекстом» в коровинских пейзажах дальних стран. Эти страны давал он в своей живописи, как Афанасий Никитин — в своем пронзительном слове из «Хождения за три моря»: глазами русского. Видя, любя, понимая, восхищаясь, удивляясь, сравнивая, радуясь прекрасному далеку, в которое он попал и о котором расскажет своим. Талант увидит, понять, принять к сердцу чужую жизнь и обычай, костюм и диковинный цветок — талант редкий. Но примечательно, что им бывают наделены только те, кто ощущает антеическую связь с собственной землей.

В Валенсии 80-х годов прошлого века юноша Коровин создал свой прославленный холст «У балкона. Испанки Леонора и Ампара». Сюжет совсем будто тот же, что в зимней спальне Татьяны: человек, ощущающий жизнь за стенами своего дома. Палящий южный полдень. Хоть спущены жалюзи, хоть в комнате испанок полутемно, на обеих — черные шали, а Леонора и полностью в трауре — с отсутствующим печальным выражением в кротких глазах, но по лицам девушек движутся блики сияющей цветной улицы, а пятно яркого жара, тонущее в узорах глухого ковра, кажется, не дает ни плакать, ни даже дышать в этой затененной комнате. Нет-нет, сюжет только внешне схож с более поздним, «татьянинским». Там утешают снег и зимний холод — воля. Здесь оттал-

АЛЕКСАНДРА ПИСТУНОВА, ВЕСЕЛЫЙ КОРАБЕЛЬЩИК

квивают свет и тепло, шум и веселье. Иное дело, что Леонора и Ампара принимают жизнь такой, какова она есть: что-то похожее на знаменитую улыбку Кабирии — все помнят последние кадры фильма Феллини — сквозит в мимике Леоноры и Ампары в картине Коровина.

Можно без конца говорить об этом шедевре, рассказывать его, тут нет ни единой «ненужности», любой предмет интерьера, любая вещь необходимы. Когда после капитального ремонта вновь откроется Третьяковская галерея, побудьте около коровинского холста, войдите в него. Какое напряженное молчание, какую истинно испанскую экстастику (момент то ли оконченного, то ли начинающегося движения) пронзительно понял русский художник! Через полвека после этой работы, в дни битв гражданской войны в Испании, Коровин сокрушенно скажет: «Мог ли я думать — это было так давно, — что доживу до того времени, когда каждый день буду читать об ужасе и горе этого прекрасного, доброго народа».

Наверное, знаток искусства Константин Алексеевич Коровина, к тому же человек, разделяющий жизнь художника и его творчество, может справедливо заметить, что я напрасно так много раз говорила о печалах и бедах, ведт этот свой рассказ. Конечно, Коровин жизнерадостный живописец, мастер, восславляющий красоту, молодость, нежность. Радостны его женщины, развешивающие алые китайские фонарики или нюхающие махровую сирень; весела его осенняя аллея в Жуковке; благоухают его розы, как бы вдвинутые в морскую даль вместе со столиком на крымской террасе; зовут к пиршеству его натюрморты с рыбами и запотевшими бутылками густого вина; его солнечный ветер подгоняет не только лодку на маленькой речке, но, кажется, и березы на берегу... А как писал он медный самовар, клубнику на тарелке, молоко в стакане, якорь на рукаве девичьей матроски... А сила человеческая в его портретах: глядишь на певца Мазини и, не зная, как он пел, ощущаешь напор баритонального голоса; музыкант Чичагов, светлоусый толстяк с гвоздикой в петлице, излучает на тебя свое активное жаркое добродушие, коснись, кажется, рукою плеча его серого пиджака, пальцы согреются, как от печки. И, наконец, коровинский Шалапин! Из множества портретов великого певца, созданных его другом, сейчас имею в виду писанный летом 1911 года в Виши, на французском курорте.

...У чайного стола, уставленного фруктами и цветами, сидит в профиль к зрителю огромный светловолосый человечище, нога на ногу, правая рука лежит на столе и под нею видно, как невелик стол. Шалапин хохочет, пляшут пестрые тени от залитого солнцем дерева за окном, в стакане с прозрачно-алым вином остановился золотой луч... Может, верно, был автор этой картины только «веселым корабельщиком», с легкой душою отправляющимся в безмятежные дальние плавания? Нет. Умнейший Савва Мамонтов, не ошибавшийся в талантах, не все, по-видимому, понимал в сердцах людей. Константин Алек-

сеевич сам объяснил, чем оплатил радостное свое искусство. Он пишет: «...Много было такого, от чего в скорби и тяжести года холодела душа и меркла надежда жизни. Таких тяжелых часов было так много, но не они волнуют в воспоминаниях, а совсем иные, трогательные...» Слова меняют цвет, меняют оттенок во времени, и содержание нелюбимого нами теперь какого-то сентиментального слова «трогательный» было век назад иным. Недаром часто встретишь его у Достоевского и Толстого. И оно означает что-то искренне и глубоко задевшее человека. Что-то? Ну, и кто-то. Конечно, — прежде всего кто-то.

«Жизнь прошла, протелела... — пишет Константин Алексеевич. — И мелькают в душе воспоминания... Там, в России, они казались окружающим пустяками. Но почему-то память о них радует, радует так светло... Жил я далеко от Москвы, в глухом месте, у небольшой речки, за которой начинался огромный бор. Речка Нерля была маленькая, как ручей... В солнечные дни отражения огромных сосен и елей в воде были веселы, радостны, мощны. Плескались золотые язи. Зеленые стрекозы летали над камышом. Ласточки со свистом носились над рекой и острыми крылышками задевали воду... Цветами был покрыт луг, и мне казалось, что это рай. Это и был рай. А в бору жил мой приятель, прелестный человек, лесничий. Жили там и медведь, изящнейшая рысь, чудной барсук и мелкие зверьки — заяц, белка, еж. Вот эти-то три последних зверька особенно трогательно вспоминаются мне. Они шутя сделались моими друзьями. Их ум, душевные особенности, любовь и сердце меня поразили, когда я их приучил к себе».

Вы поняли, конечно, какой одинокий и печальный человек написал эти поэтические строки.

Жизнь Коровина была блистательной в творчестве и всегда тяжелой, даже безысходной в судьбе. Как сценограф он поставил на русских сценах «Русалку» и «Снегурочку», «Фауста» и «Орфея», «Демона» и «Лебединое озеро», «Рогнеду» и «Гибель богов», «Руслана и Людмилу», «Садко», «Евгения Онегина», «Князя Игоря», «Золотого петушка», «Сказание о невидимом граде Китеже», «Раймонду», «Дон Кихота», «Щелкунчика» и, наконец, свой шедевр в театральном постановочном искусстве — «Хованщину». Он был художником таких драматических спектаклей, как «Ревизор» и «Вишневый сад», шекспировских «Бури» и «Макбета», «Дядя Ваня», шиллеровской «Марии Стюарт», «Живого трупа», «Женитьбы Фигаро». Как архитектор и художник-монументалист (автор настенных панно, которым нет равных в истории отечественной монументальной живописи) он создал знаменитый павильон «Русский Север» на Всероссийской нижегородской ярмарке и покоривший мир русский городок на Всемирной парижской выставке 1900 года. График, книжный и станковый. Костюмер. Мастер портретной, пейзажной, жанровой живописи. Обыватель конца прошлого века «не понимал» Коровина-станковиста, как и пресса, государь с государыней. Но вот Александр Бенуа

оплатил радостно... Много радости и тяжести горю, а совсем не так много, но держание, сеги-то век и лет.

...очил ния Коровина в свою «Историю русской живописи XIX века», которую читала Европа. Обыватель стал привыкать к «методам» — так именовались картины Константина Коровина...

Он собирался праздновать свое пятидесятилетие, когда внезапно умер самый близкий друг его Валентин Александрович Серов. В мамонтовском кружке, где они сблизились, им дали общее прозвище «Коров-Серовин». Люди, испытавшие сиротство, часто тянутся друг к другу. А эти люди были еще и великие, одаренные талантом дружбы и сердца. Потом на краткий срок их стало трое: просиял и так скоро ушел во тьму гений Врубеля.

С Серовым вместе снимали они мастерские — и ту, где Валентин Александрович писал друга на полосатом диване... С Серовым же Коровин начал преподавать в Московском училище живописи. Был в их дружбе и общий холст — портрет Шаляпина 1904 года, он остался незаконченным, но все равно очень интересен. Коровин любил скромную милую жену Серова, его детей, его семейный быт, где царил доброта и уважение. Этот очаг часто согревал «бродяжку» Коровина. Своего очага у него по существу так и не было. Женится рано, неудачно. Первый сын умер ребенком. У второго, Алексея (названного по деду) были парализованы ноги.

Красавец, любимец талантливых и умных женщин (кажется, были какие-то непростые отношения с Марией Васильевной Якуничковой, сестрою Натальи Васильевны Поленовой), Коровин чаще бывал в мужском обществе — рыбаки, охотники, лесничие, театральные маляры — вот его привычное приятельство.

Но в 1907 году он познакомился с молодой актрисой, ученицей Станиславского, Надеждой Комаровской. Любовь возникла мгновенно, радостно, взаимно. Через пятьдесят с лишним лет Надежда Ивановна выпустила в Ленинграде книгу «О Константине Коровине». Книгу светлую, добрую, шедрую и умную, в которой благородные ее отношения с великим художником рассказаны просто и тактично, вернее, «не рассказаны» почти совсем. Надежда Ивановна пишет о привычках своего любимого, его товарищах, вкусах, его здоровье, о круге его чтения, о путешествиях вместе с ним. Тогда в Виши, где Шаляпин в светлом костюме хохотал у чайного стола в отеле «Де Севиньи», Комаровская была свидетельницей создания коровинского портрета. Ах, какая же это была свидетельница, какой удивительный зритель, спутник, критик, какая модель! Я видела два коровинских холста, изображающих Надежду Ивановну, из них ясно: с преклонением смотрел Константин Алексеевич на это вдохновенное большеглазое лицо. Скорее всего писаны портреты с натуры, но в них, как во всех лучших работах Коровина, живет некий «мемуарный подтекст», та воспоминательность, о которой

я уже говорила. Портретировал юную женщину, близкую, родную каждым поступком и движением, а словно бы уже расстался, уже простился, никогда-никогда не увидит. Что поделаешь, ведь они всегда какие-то пророки, больше-то мастера. Что-то наперед знают, чувствуют...

Из-за большого сына в 1923 году Константин Алексеевич Коровин, надеявшийся на французских докторов, уехал в Париж. Мать Алеши вскоре тоже заболела на чужбине, черная, отекающая лежала в маленькой комнате возле мальчика. Денег на врачей не было, хоть Коровин брал любую работу. Нужда. В 1926 году Алексей — как дед его когда-то — покушается на самоубийство, но пройдет еще несколько мучительных лет, прежде чем он сумеет выполнить свое намерение...

Не выбраться было домой Константину Алексеевичу, никак не выбраться. Он ходил за сыном и женой, как нянька. Гонорары — а они невелики были в ту пору — уходили на лечение. Кажется, очень немногие французы смогли передать в живописи образ своей страны, ее урбанистический и морской пейзаж, ее быт, сам дух ее, как сделал это русский мастер Коровин. Но тогда, в конце прошлого — начале нынешнего века, за ним была воля, за ним Россия была, Отечество. Любить весь мир, имея Родину, — счастье, и оно возможно. Любить чужой мир, навсегда покинув Родину, невозможно. Душераздирающие письма идут от Коровина в Россию, где его ученики строят новую культуру. Они помнят его, они по-прежнему восхищаются искусством Коровина, тем щедрым теплом, которое подарил им Садко — так называл учителя Сергей Васильевич Герасимов.

Он седой, борода — как у мельника в «Русалке». Светлые глаза из-под бывшей флорентинской челки смотрят внимательно и нежно. Это парижский снимок, весна 1939 года. Только что в рассказе «Мороз» Коровин писал о России и о смерти. «Голубело кругом, когда мы возвращались домой новой дорогой. Розовела даль. Дремали леса в сумерках зимнего вечера, в сказке окружающей зимы был таинственный заман...

— А вот, может быть, смерть от мороза не страшна, — сказал Иван Иванович. — Кто знает? Есть что-то: замерзающий засыпает... Идешь, а тебя в дрему тянет, отдохнуть бы, прилечь. Зовет... Вечер, краса какая! Я знаю — это он, мороз, зывает к себе...

Приветливо было в доме моем, когда мы пришли. Человеку нужен дом, человеку нужна дружба, друзья».

Мечтал о доме, хоть даже о смерти на Родине. Но больше ничего не было. 11 сентября 1939 года Коровин скончался. Мир не заметил его ухода — ведь началась вторая мировая война... Печальный корабельщик тихо отплыл на ту речку, где давно ждал его Поленов,